

СВОБОДА СЛОВА

«Новые стихи» Беллы Ахмадулиной
в журнале «Знамя»

*Независимая газета. — 1999.
— 27 окт. — с. 7*

Павел Белицкий

ПОЭЗИЮ Беллы Ахмадулиной знают и любят многие. Число ее благоговейных поклонников вполне сопоставимо с числом читателей поэзии вообще, хотя, смею думать, не все те, кто назовет Ахмадулину лучшим из ныне живущих российских поэтов, читают стихи и знают о современной русской поэзии что-либо кроме этого. Впрочем, вопрос первенства наименее важен, поэзия не спорт, в ней нет чемпионов. Есть — знаковые фигуры, по которым, как по рискам на часах, определишь время, те самые пастернаковские заложники и пленники, в чьих стихах вдохновение целого поколения, выдох эпохи.

Ахмадулина, опять же для многих, давно уже стала едва ли не олицетворением поэзии, и в этом есть справедливость. Трудно, пожалуй, невозможно даже найти другого поэта, настолько растворившего свое человеческое «я» в языковой стихии. Не отказавшись от смысла, но подчинив смысл речи музыке языка, человеческий разум самовластному звуку — как будто уверовав, что у этого звука всегда и только серафическая природа, — Ахмадулина, пожалуй, единственная из всех, пытавшихся идти в том же направлении, рискнула дойти до того предела, за которым человеческого в поэте словно не остается, но есть уже только какая-то тотальная лирическая субстанция, проистекающая буквально и действительно «не от мира сего», какая-то не то завороченность, не то безотлучная призванность «к священной жертве». Тому, что названо «когда не требует поэта», здесь уже места не остается...

В «Новых стихах» Ахмадулиной, опубликованных в июльской книжке журнала «Знамя» (фактически это не подборка, а целая книга стихов, довольно большая, части которой до того публиковались в других журналах, — например, в одном из последних номеров «Континента»; в сентябрьском «Знамени» опубликована другая «книга» Ахмадулиной, но в ней стихов нет — это автобиографическая проза, путевые заметки), эта тотальность лирического проявилась отчетливо и устрашающе. Устрашающе потому, что при всем тематическом трагизме («Отведая смерти, вновь я живу, / Хоть смущена запретной тайны эхом», — то, вокруг чего и построены «Новые стихи») стихи эти заставляют думать о разности между вдохновением и одержимостью. Между, извините, «гением» и «даймо-

ном», если угодно...

В семнадцати стихотворениях цикла «Глубокий обморок» (где вроде бы «герой сюжета — мозг», как поясняет Ахмадулина), на самом деле тем и сюжетов множество. Здесь смешались болезнь и возвращение к жизни, Пушкин и его юбилей, Битов и его Пушкин, убийство Старовойтовой, музыка, санитарки, приезжающие на работу в больницу из не близких Кимр, античность, бессонница, свечи, размышления о поэзии вообще и о собственных стихах в частности, и еще много кого и чего. Но дело, конечно, не в темах или их количестве, а в том ощущении безотчетности и самоцельности речи, возникающей и текущей произвольно, сбивающейся с предмета на предмет (и потому выглядящей беспредметной), и при этом совершенно подавившей какую бы то ни было волю автора, от которого как будто осталась уже какая-то одержимая лирическим напором языка сомнамбула с мерцающим, воспаленным бессонницей сознанием.

*Возглавье плоти, гость загадки
вечной,
живет вблизи,
как нелюдим-сосед,
многоученный, вежливый
с неведждой,
в заочье глядя, словно мне
вослед.*

*Его попытка затесаться
в луны —
примерка? примирения пример?
Ему вторженья в глушь небес
не любы.
Он выше был. Он изучил
предмет.*

Понять, что и о чем здесь сказано, трудно даже с третьего раза, хотя речь, по всей вероятности, о мозге. Можно, конечно, сказать, что это — пример чего-нибудь вроде «семантического ассонанса», и, употребив эти умные слова, сделать вид, что теперь все стало яснее, но на самом деле, конечно, легче от этого не будет. Таких «темных» мест, не говоря уже о случаях синтаксической запутанности, еще более усиливающей впечатление бессвязности, внутренней «беззаконности» стихов, в «Новых стихах» достаточно. Впрочем, Ахмадулина время от времени «включает» волю и призывает себя к простоте и ясности, но, кажется, делает это только для того, чтобы тут же снова сдаться во власть прежнего «самотеска» речи:

*«Опять, перо мое, темным-темно
ты пишешь,
морочишь и гневишь безгрешную
тетрадь.*

*В угодиях ночей мой разум дик
и вспылчив,
и дважды изнурен: сам жертва
и тиран.*



Поэт Белла Ахмадулина.
Фото Артема Житенева (НГ-фото)

*Пусть выведет строка,
как чуткий конь сквозь вьюгу,
Не стану понукать, поводя
отпущу.
Конь — гением ноздри и мышц
влеком к уюту
заветному. Куда усидчиво
спешу?»*

Такая подчиненность внешней, стихийной воле языка для Ахмадулиной, видимо, принципиальна, она самоустраивается, декларируя и то, что «перо — самоуправно, самовластно», и что «стих сам себя творит»...

Что ж, в этом есть своя философия и, очевидно, можно писать и так. Но поэтическая воля, понимаемая как самовольство стиха, может привести к тому, что речь нет-нет, да и устроится поперек русского языка. Что и получается. «Винювна пред избранницей небесной / незваность шутки»; или «Но волоку ниспосланную лямку — / в незримость груза впрягшийся бурлак»; или «грохнулось приданое сервиза» — характерные для манеры Ахмадулиной примеры построения фразы, и, смею утверждать, что хоть всем и понятно, что здесь имеется в виду, но сказано это не по-русски и требует перевода: *виновна*, очевидно, *шутка*, просто она незваная, то есть неуместная, и *бурлак* впрягся, конечно, в *груз*, а не в незримость. С сервизом сложнее: если это его приданое,

следует спросить, за кого сервиз вышел замуж, — так это выходит по-русски, хотя, конечно, непонятно: подразумевалось, что это сам сервиз был чьим-то приданным. Рядом с этими примерами такой случай авторской глухоты, как «бездны пропасть», в общем-то, уже почти что невинен, но если невозможно произнести без комического эффекта «яма канавы», чем же «бездну пропасти» извинить? Тем ли, что глубже будет, или же: стих стерпит, а высокий стиль оправдает?

Природа стихов «Глубокого обморока» даже не то, чтобы насквозь «литературна». Она напоминает скорее некое действие, почти театральное (театрализация стиха тоже давно известная черта поэтики Ахмадулиной), разыгрываемое в «культурных» декорациях. Все, что переживает Ахмадулина в больнице, что видит, о чем думает и вспоминает, *бываю то собственное пребывание «вечных» наделиница, прогулка к Финскому заливу и т.д.*, — обставляется многословной, пестрой суетой культурных и литературных аллюзий. Многословие, речевая суета поэта, спешащего «благословить мгновенье бытия», — кажется, что Ахмадулиной надо было выговорить все лишнее, чтобы потом, с уже «сухой» душой приступить к внятной и осмысленной речи. ■